

Дмитрий Васильевич Григорович

## **В ожидании парома**

Григорович Д. В. Избранное / Сост. и авт. вступ. статьи  
Н. Утехин. Худ. С. Соколов.— М.: Современник, 1984.—  
с. 309—345.

Кого хоть раз в жизни не застигали на наших дорогах продолжительное ненастье, весенняя распутица или позднее осеннее время, тому, может быть, лишнее описывать всё, что претерпевает в таких случаях путешественник. Достаточно сказать, что курная изба, со всею её грязью, вонью и духотою, приветствуется тогда с величайшею радостью.

На мою долю выпали и грязь, и ненастье. Апрель стоял на половине; зимний путь прекратился; но ехать пока ещё можно было; почва благодаря возвратившимся морозам и постоянному холодному ветру держалась довольно твёрдо. Вдруг ветер повернул с юга; по прошествии какого-нибудь часа небо покрылось тучами, и частый, тёплый дождь зашумел со всех сторон. Воздух сделался так мягок, что земля видимо почти распускалась; низменные места дороги и колеи наливались водою; в ровных местах было ещё хуже: глина навивалась на колёса целыми ворохами и мешала двигаться. Я торопил, однако ж, ямщика. Нам предстоял переезд через Оку. Принимая в соображение время и погоду, мы легко могли засесть на этом берегу, в случае, если

замешкаем. До переезда осталось вёрст шестнадцать,— суцая безделица, кажется! По железной дороге проехать такое пространство — полчаса, по шоссе — час, много полтора; но надо заметить, мы пробирались так называемым большим почтовым трактом; как все пути такого рода, дорога наша отличалась от полей кое-где торчавшими по сторонам ветёлками. Тут уже нет возможности расчислить время, соображаясь с числом вёрст; можете благополучно проехать от станции до станции, можете также просидеть в какой-нибудь котловине и всего чаще под каким-нибудь мостом целые сутки.

Мы едва тащились. Время от времени попадались подводы с мукою, которые безнадёжно бились посреди дороги; мы подсобляли им карабкаться и продолжали путь, чтобы полверсты далее засесть, в свою очередь, и ждать, пока не выручат оставшиеся позади и только что нами же вырученные люди. В таком обмене услуг заключались, можно сказать, путевые впечатления и развлечения.

Гладкая, пустынная, как степь, местность убегала во все стороны; всюду мелькала тём-

ная, взбудораженная почва, по которой хлестал ливень; встречались сломанные оси, чахлые ветлы и стаи галок, которые, как бы в контраст грустной неподвижности всего остального, пронеслись стрелой над нашими головами. Не помню, чтобы было когда-нибудь так печально на земле и на небе! Весеннее время года перемежается в средней полосе России периодами, где решительно не разберёшь, что происходит в природе; признаки весны исчезают совершенно; кажется, скорее наступила суровая, опустошительная осень; птицы, прилетевшие при первом тёплом ветре, бог весть куда все попрячутся; серый туман застилает окрестность; отчаянная глушь воцаряется всюду; обнажённые деревья, обливаемые дождём и колеблемые ветром, уныло гудят, дополняя тоску, которая сама собою вливается в душу...

Был уже час восьмой вечера, когда сквозь частую сеть дождя и начинающиеся сумерки блеснул в отдалении один из поворотов Оки. Но прежде чем попасть на перевоз, следовало проехать длинную-длинную деревню, раскинутую по низменному берегу. Улица букваль-

но запружена была лошадьми, подводами и народом, ждавшим очереди. Нечего было думать ехать далее; надо было остановиться при самом въезде в деревню.

— Где паром, на той или на этой стороне? — спросил я, как только выравнялся с ближайшими возами.

— Паром ушёл... — отозвалось несколько голосов.

— Давно ли?

— С утра ушёл!

— Как с утра?..

— С утра... Канат порвался у парома... он и ушёл...

Дождь промочил во многих местах моё платье, и я продрог до костей; но при этом известии меня в жар кинуло. Кроме того, что я спешил достигнуть цели своей поездки, мне слишком хорошо было известно, что значит дожидаться восстановления порядка, когда наблюдения за порядком, передаваясь от одного лица к другому, переходят наконец к мелким властям, а мелкие власти, после дружеского объяснения с содержателем перевоза, предоставляют последнему полную свобо-

ду действовать и распоряжаться по своему произволу.

Я решился оставить лошадей, взять чемодан и попытаться переехать на лодке. С такою мыслью направился я к реке. С каждым шагом вперёд труднее было двигаться. Улица, окутанная уже полумраком, представляла совершенную кашу из подвод, людей и лошадей; всё это располагалось зря, без всякого порядка, тискалось и сбивалось, уходя в грязь по колено и по ступицу; иная телега стояла прямо, другая поперёк; в одном месте голова лошади упиралась в воз, в другом — задние ноги животного тесно жались к соседним колёсам; трудно было понять, как всё это могло устояться таким образом; но ещё труднее было понять, как всё это разъедется, как отцепится одна ось от другой, как двинутся колёса без того, чтобы не переломать ноги бедным клячам. Нескончаемый этот лабиринт неожиданно прерывался гуртом волов, которые неподвижно лежали под дождём и смутно обозначались в седом паре, клубившемся над ними. На самом берегу, у спуска к косогору, стояли толпы народа. Крики, говор и шлёпа-

ные по грязи — всё это мешалось с грохотом реки, шумевшей от падавшего на неё дождя, с плеском волн. Не было возможности разобрать целой речи; посреди говора ясно только слышалось: «куда лезешь! народ! начальство не позволяет!.. слышь: начальство!..» Слова эти, произносимые с сильным малороссийским акцентом, принадлежали сухопарому, рябому инвалиду очень мирного вида, который тут и там появлялся с тоненькою хворостинкой в руке. Этот же самый инвалид на вопрос мой: можно ли проехать в лодке? — отвечал, что это никак невозможно, что лодка была привязана к парому, и её унесло вместе с ним; а что вот как придёт паром, тогда, пожалуй, можно и на лодке переехать...

Скрепив сердце, я отправился назад искать ночлега.

Сколько ни странствуйте по нашим дорогам, сколько ни испытывайте всякого рода дорожных бедствий, при каждой новой поездке вам непременно встретится новый, ещё не изведанный случай. Мне, по крайней мере, ни разу не приводилось быть жертвой порванного каната, хотя я много раз слышал о

подобных случаях. Этот канат не выходил у меня из головы. «Отчего бы ему оборваться?..— рассуждал я мысленно.— Отчего могло произойти всё это?.. надо думать, вот как было: конторщик или управитель какого-нибудь помещика купил дешёвенькие семена конопли (в расходной книге выставлены были, разумеется, семена первейшего сорта и самые дорогие): уродилась плохая конопель, из неё вышла плохая пакля; управитель или конторщик ловко подсунул её купцу-поставщику, который, в свою очередь, ловко подсунул её канатному фабриканту. Фабрикант начал вить из неё особенного рода дешёвенькие канаты, предназначенные на продажу лицам, не больно сведущим в деле верёвочного производства. Содержатель парома был не настолько дурак, чтобы покупать дорогой канат, когда под руками находится дешёвый. Авось сдержит! — думал он, не видя даже лично для себя никакой потери, в случае, если и не сдержит; народу, съезжающему к его перевозу, всё равно деваться больше ведь некуда,— хочешь не хочешь, переезжай здесь, а не в другом месте; ближе сорока вёрст

в обе стороны нет паррома: потери, следовательно, никакой нет для содержателя перевоза; бояться ему также нечего после предварительного переговора с мелкими властями». Восходя таким образом к источнику беспорядка, я мысленно говорил: «но отчего же, наконец, такая круговая порука взаимного надувательства и недобросовестности?.. Отчего же всё это?.. Отчего?..»

Совсем уже стемнело и в окнах зажигались огни, когда я возвратился к своему ямщику. Мы направились к ближайшей избе. Но так уже суждено было, чтобы в этот день испытывать одни неудачи: в избе скопилась целая орда, не оставалось свободного уголка. Нас отправили в избу насупротив, уверяя, что там найдём много свободного места; изба принадлежала бурмистру; он держал горницу и пускал одних купцов и помещиков.

На этот раз действительность далеко даже превзошла ожидания. У бурмиистра нашёл я трёх человек; с первых слов оказалось, что то были проезжие помещики, претерпевавшие одинаковую со мною участь. Все трое сидели вокруг стола, уснащённого стаканами и блю-

дечками; тут же возносился самовар, шипевший самым привлекательным образом. Минут через десять, переодетый и обогретый, сидел я между ними со стаканом чая, радушно предложенным мне соседом, человеком средних лет, весьма симпатической наружности, закутанным в коричневое пальто, повязанным чёрным галстуком, пропускавшим белые и тонкие воротнички рубашки. Второй сосед был миниатюрный, худенький, но живой и весёлый господин с крошечным белокурым лицом, отличавшимся необыкновенною подвижностью. Третий представлял из себя толстяка лет шестидесяти с шарообразною седоватою головою, серыми глазами навывкате и коротенькой шеей; он сидел без галстука, в халате и туфлях, покуривая из коротенького чубука, залепленного сургучом,— обстоятельство, заставлявшее его поддерживать свободною рукою живот, который, от чрезмерного сотрясения туловища, приходил всякий раз в сильное колебание. По-видимому, ему тесно было даже в халате; он ехал, видно, на своих: под ногами его стоял тяжеловесный поставец, а шагах в двух подымалась широкая, пышно

взбитая перина с ситцевым одеялом и подушками.

В промежуток этих десяти минут, как я вошёл в избу, он слова не промолвил; во всё время сохранял он какой-то неловкий, сконфуженный вид, пыхтел и краснел, бросая, особенно на меня, недоверчивые, косые взгляды; компания, очевидно, стесняла его. Первым поводом к беседе послужил, разумеется, беспорядок, которому обязаны мы были нашим столкновением.

— Мошенники! — неожиданно пробурчал толстяк, к совершенному удовольствию маленького живого господина, который, казалось, только и ждал, чтобы разразиться смехом.

Замечание толстяка произнесено было таким мрачным, таким недовольно-комическим тоном, что действительно трудно было удержаться.

— Чего вы смеётесь? Конечно, мошенники! — повторил он, дико поглядывая на весельчака.

— Ещё бы не мошенники!.. Разве я заступаюсь? — возразил тот, продолжая надирать-

ся.— Впрочем, нам с вами нечего много жаловаться,— подхватил он преднамеренным каким-то тоном и как бы желая подразнить старика.— Нам с вами грех роптать; одно разве: домой позже приедем! Что ж касается до всего остального — мы здесь блаженствуем,— именно блаженствуем! Видите: сидим в тёплой избе, пьём чай... ваш человек даже вам перину послал. Чего же ещё?.. Нет, скажите-ка лучше, каково-то теперь бедному мужичонку, что стоит на улице, вот что! Каково этому мужичонку, который не только не пьёт чаю теперь и не уснёт на перине, но которому нечем даже за ночлег отдать, чтобы от дождя спрятаться? Скажите-ка лучше,—ему каково?.. Вот,— добавил маленький господин, живо обратясь ко мне и насмешливо прищуривая глазки по направлению к толстяку,— вот они говорили нам, что всё это ровнёхонько ничего не значит, что мужик привык ко всему этому...

— Разумеется, привык! — произнёс толстяк, нахмуривая брови и как-то боком пятясь на своём стуле.

— Ну, а как вы думаете,— заговорил в свою

очередь господин в коричневом пальто, холодно поглядывая на толстяка,— думаете ли вы, что этот мужик, у которого, по вашему мнению, кожа должна быть дубовая, привык ли он, например, платить за хлеб для себя собственно и за овёс и сено для своей лошади, привык ли он платить втридорога против того, что в самом деле стоит овёс, сено в хлеб? Не думаю, чтоб это было ему нипочём!.. А между тем, могу вас уверить, весь этот народ, который вы видели здесь на улице, находится в таком положении! — присовокупил он, переменяя голос и обратясь ко мне.— Я сам спрашивал: тут есть бедняки, которые уже третьи сутки дожидаются; известно: человеку надо есть, надо, чтоб и лошадь сыта была; как же не воспользоваться таким случаем? ломи с него за всё втридорога! Таких случаев, как тот, которому обязаны мы нашей встречей, только и ждут обыватели приречных деревень! Надо было видеть, что происходило в этой самой деревне (и нет причин, чтобы в других не было того же самого) во время поповодья, недели две назад; я давно привык ко всему этому, но, признаюсь, последний раз

пришёл в ужас: подвод съехалось, я думаю, больше, чем теперь; большая часть возвращалась из Москвы после обоза; Ока восемь дён стояла в разливе, восемь дён не было возможности попасть на ту сторону! Хлеба, сами, полагаю, знаете, весною остаётся уже немного: у другого, если семья большая, в феврале уже весь вышел; об овсе и сене говорить нечего! И наконец, не напасёшься всего этого дней на десять, которые необходимы для переезда из деревни в Москву и обратно. Вот тут-то поглядели бы вы, что здесь происходило: кто продавал одежду для того, чтобы прокормиться,— а время, надо заметить, было самое холодное и дождливое,— кто продавал лошадь, чтобы не дать ей издохнуть с голоду, кто сани сбывал.. Все эти предметы отдавались, разумеется, за самую безделицу; проезжающий находился в руках обывателей, которые, нимало не стесняясь совестью, просто грабили! Я вам говорю: такая картина, что не приведи бог во второй раз видеть!., а придётся, непременно придётся, потому что я каждую весну и осень проезжаю по этой дороге...

Разговор, к которому тотчас же пристал

маленький живой господин, завязался на эту тему. Мы совсем почти забыли толстяка; он, впрочем, молчал; казалось, он недоволен был предметом беседы. Переходя от одного вопроса к другому, мы невольно коснулись быта народа и нравственных его свойств. Мнения были очень различны; мы вообще так мало обращаем внимания на народ, так мало знаем его, что иначе быть не могло; перебрав хорошие качества нашего простолюдина, мы пришли к его недостаткам; тут мнения ещё резче стали отличаться одно от другого. Одно более всего возмущала жадность к барышу, часто даже заглушающая совесть и религиозное чувство; другой нападал на отсутствие крепкого нравственного начала, на малодушие и бесхарактерность; маленький господин с жаром обвинял мужика в лени, которую часто даже прикладывает он к личным своим интересам. Хотя маленький господин, очевидно, увлекался собственными словами и чересчур горячился, суждения его показывали человека, не лишённого наблюдательности и много обращавшегося с народом. По мере того как говорил он, толстяк заметно де-

лался внимательнее, он начал даже поддакивать, утвердительно потряхивал головою и время от времени бросал на меня и моего соседа торжествующие взгляды. Слово за словом, речь коснулась той роли, которую играют страсти в душе простолюдина.

— Я имею основание думать, что страсти вообще, то есть как бы благородные, так и неблагородные, одинаково свойственны всякому человеческому роду без различия состояний...— сказал собеседник в коричневом пальто,— на мои глаза (думаю, и на ваши точно так же), не существует между людьми другой разницы, как та, которую дают большая и меньшая степень развития и образования; но в деле страстей, мне, по крайней мере, так кажется, образование и развитие не имеют большого значения; они помогают только страсти иначе выразиться, смягчают форму; действие страсти, сущность нравственного процесса остаётся всё та же...

Такое мнение не встретило возражения ни с моей стороны, ни со стороны маленького господина. Казалось, это удивило толстяка; до настоящей минуты он не переставал моргать

нам обоим с видом взаимного соучастия, как бы ожидая, что вот-вот оба мы разразимся смехом: обманутый в своих ожиданиях, он раздул губы и отвернулся с видом пренебрежения, как будто хотел сказать: «Ну, опять за пороли чепуху!..»

— Мне известно из самых верных источников,— продолжал между тем господин, начавший разговор,— знаю верно, что в наших тюрьмах, например, на три тысячи преступников средним числом находится около восьмисот таких, которых страсти, я понимаю сердечные страсти, довели до преступления; такая пропорция что-нибудь доказывает в пользу нашего общего мнения! Я убеждён в этом. Постоянно живу в деревне, постоянно наблюдаю; всего насмотрелся. Не далее как прошлую осенью был у меня случай с одним из этих вялых и апатичных, как вы их называете... Пожалуй, я расскажу вам, если не скучно...

Я и маленький сосед мой выразили готовность слушать. Толстяк ничего не сказал; он явно предубеждён был против рассказчика; щетинистые брови его выпрямились, однако

ж, и пухлое лицо повернулось в нашу сторону. Господин в коричневом пальто обрезал сигару, налил новый стакан чаю и начал таким образом:

— Я заметил, кажется, что происшествие, о котором пойдёт речь, случилось осенью; но осенью оно, собственно, только кончилось; началось гораздо раньше,— весной прошлого года. Вёрстах во ста отсюда, за Окою, находится у меня деревушка, вернее, выселки из другой деревни, где я провожу обыкновенно лето; выселки от меня версты две; народ на оброке; но ни расстояние, ни оброчное положение не мешают мне знать очень хорошо, что там делается. Надо вам сказать, я сам занимаюсь своим хозяйством; это не весело, если хотите; куда как не весело! но я делаю это из убеждения; действуя таким образом, мне кажется, я исполняю свой долг,— это раз; и, наконец, я приношу этим действительную, существенную пользу моим крестьянам, такую пользу, какую не мог бы принести самый лучший, добросовестный управитель...

— Уж это точно! — вымолвил толстяк с уверенностью,— эти управители — все мо-

шенники; кругом тебя обворуют

— Совершенно справедливо! — произнёс рассказчик, посылая ему самый серьёзный поклон, — вы угадали мою мысль! Но всё это, господа, дело постороннее; я коснулся всего этого с тою только целью, чтобы понятнее было, каким образом мог я изведать подробности моего рассказа. Итак, я знал более или менее всех выселовских мужиков. В числе их был один, который особенно всегда возбуждал моё любопытство; это потому, может быть, что я знал его менее других. Такого рода личность легко, впрочем, могла ускользнуть от самого наблюдательного глаза; в жизнь мою не видал я человека более бесцветного: не было ни наружной черты, ни факта из жизни, которые могли бы служить для пояснения его характера. Представьте себе жидкую, в высшей степени разварную фигуру, с подслеповатым белокурым лицом, усыпанным веснушками, длинною головою, странно как-то приплюснутою на лбу, — головою, которая держалась всегда на сторону и сонливо клонилась к земле. Глядя издали, вы бы непременно сказали: «над чем так крепко за-

думался этот мужичок? верно, пришибло его каким-нибудь горем»... Вблизи оказывалось, что как в глазах его, так и во всех чертах царствовало полнейшее отсутствие жизни и даже мысли. Непомерная апатия и вялость ещё резче проявлялись, когда он ходил или принимался дело делать: длинные руки болтались словно сами собою; ноги, несмотря на удобу, тяжело передвигались, подгибались в коленях, переплетались как у пьяного; он не пил, однако ж, капли в рот не брал,— не на что было. Присоедините к этому страшную неряшливость; она как бы дополняла жалкий вид наружности. Не помню, чтобы явился он когда-нибудь без прорехи или зацепины; в одежде его непременно чего-нибудь да недоставало: или меховой обшивки вокруг шапки, или верёвочки на одном лапте, или целого плеча на полушубке; и сколько бы ни пропекало его морозом в прорванное место — он на другой день выходил с тою же прорехой, как и накануне. Та же самая распушенность была и в домашнем быту его, и в хозяйстве, и в поле; у других, например, озими или яровое бархатом стелется; у него, смотришь, на десятине

те же прорехи, что на рубахе; везде плешины; где густо, где нет ничего... И между тем не было возможности взыскивать с него, заставить его быть расторопнее, деятельнее,— заставить, чтобы дело шло иначе...

На этом месте рассказа хрипенье толстяка перешло в удушье, и он начал высказывать сильнейшие знаки нетерпения.

— Вам, кажется, угодно что-то сказать?..— обратился к нему рассказчик.

— Что уж тут говорить! — комически-безнадёжным тоном промолвил толстяк,— а вот я вам скажу, подхватил он с сердцем,— по сечь бы его хорошенько, этого мужика,— так ничего бы этого не было... отличный был бы мужик.

— Вот оно что значит настоящий-то хозяин! — воскликнул весельчак, стараясь сохранить серьёзный и даже почтительный вид,— вашу руку, милостивый государь, вашу руку! я всегда питал искреннее, глубочайшее уважение к практическим людям; всегда! — заключил он, потрясая жирную руку толстяка, который, по-видимому, недоумевал, как принять всё это: за настоящую ли монету или за

насмешку.

— Теперь,— довершил весёлый господин, обратившись, к рассказчику,— позвольте просить вас продолжать: вы сказали, что нельзя было прицепиться к этому мужику...

— Я, по крайней мере, не мог этого сделать,— подхватил рассказчик,— духу недоставало. Он решительно хоть кого бы, впрочем, обезоружил своею кротостью. Иной раз идёшь мимо его поля, невольно возьмёт досада: так бы вот, кажется, и разругал его и тотчас же заставил переделать, перепахать; но при виде несчастной этой фигуры, покрытой заплатами, при виде этого смиренного лица, опущенного к земле, только отвернёшься да пройдёшь поскорее мимо. Вся эта распущенность слишком уже очевидно происходила скорее от внутреннего бессилия, от врождённой, свойственной его природе лености и апатии, чем от преднамеренности, лености или вообще порочного какого-нибудь свойства.

Им, наконец, и без того уже много помыкали. Если безответные, кроткие люди играют жалкую роль в образованном обществе, можете судить, в какое положение ставят такие

свойства в кругу народа! Он находился во всеобщем пренебрежении; каждый над ним трунил, подсмеивался. Не было примера, однако ж, чтобы он, с своей стороны, кого-нибудь облаял; он не подавал голоса даже в таком деле, когда очевидно приходило ему внаклад; он всегда молча повиновался. Надо думать, что, кроткий и смиренный по природе своей, он в детстве был сильно загнан или запуган. Тем только и обозначалось присутствие его в выселках, что поле его и изба занимали там место; на самом деле он как будто не существовал. Возьмите также в расчёт действительно самую безотрадную домашнюю обстановку: детей куча, ни брата в доме на подмогу, ни старика; поневоле упадёшь духом и одуреешь! Тут же, кстати, одно к одному, жена попалась ему такая же ничтожная, как и сам он. Попадись баба сметливая, расторопная, смышлёная,— дело, разумеется, шло бы другим порядком. У нас часто встречаются бабы, которые вертят и хозяйством, и мужем, любо смотреть, как распоряжаются! Мнение, будто в домашнем быту народа жена играет второстепенную роль и всегда подчинена мужу —

ошибочное мнение; второстепенная роль точно присуждена ей обычаем; но обычай существует только в памяти народа, на словах существует; это ничего, что муж иной раз поколотит; он поколотит, а она всё-таки своё возьмёт. Бывает даже, что целой деревней управляют бабы: заведётся какая-нибудь тётка Маланья, да в дворне ещё Аграфена, да к ним присоединится ещё мельничиха; одна к старосте подольщается, другая — к конторщику, третья за нос водит мужа, который, в свой черёд, имеет влияние на конторщика и на старосту. Староста, конторщик и мельник воюют на миру, надрываются; Маланья, Аграфена и мельничиха виду не подают, так только, как бы невзначай встречаются и шепчутся,— а дело,— смотришь,— дело делается по-ихнему.

К несчастью, жена Якова (так звали моего мужика) не из таких была. Она принадлежала к разряду так называемых плакс, канючек. Пустейшая была баба. Вот её смело можно было упрекнуть в лени! Она положительно высказывала явное нерасположение к труду; даже дома редко чем-нибудь занималась; вечно сидит, бывало, у соседок или шляется по

окрестным деревням, навещая кумушек; жалобы на бедность и сетования на судьбу служили только придиркою к тому, чтобы поболтать, язык поточить. С мужем жила она, однако ж, смиренно; мне сказывали только, будто они никогда друг с другом не разговаривали; он молчит, и она молчит, и всё это не потому, чтобы имели они что-нибудь друг против друга,— вовсе нет; так просто; говорить, видно, не о чем было. Меня всегда удивляло, как, при таких странных отношениях, могли у них ежегодно рождаться дети,— а ежегодно рождались, семеро ребятишек было. В доме находилась ещё мать Якова; но её пока считать нечего; всё равно, что была она, что нет. Она уже пятый год не сходила с печки; паралич свёл ей левую руку и ногу. Казалось бы, что при такой обстановке, особенно при таких характерах, трудно ожидать в этой семье драматического эпизода; по всем данным, этот Яков, поживши своею жалкою жизнью, должен бы сойти в могилу, не оставив после себя малейшего следа, даже воспоминания... Случилось, однако ж, иначе; вот как это было.

Один из выселовских мужиков, который

был позажиточнее, нанял работницу. Взял он её из-за реки, вёрст за десять, на какой-то миткалевой фабрике. Женщина эта (она, забыл вам сказать, была вдова и бездетна) пользовалась даже между фабричными не совсем благонадёжной репутацией: значит, уж хороша была. Её знали в околотке под именем рябой Марфутки.

После того как кончилась история, которую вам рассказываю, я имел случай её видеть; трудно представить наружность более непривлекательную: лицо пухлое, рябое; нос комом; из себя коротыш какой-то; к тому же было уж ей лет сорок, может даже и с хвостиком. Но, несмотря на всё это, в выселках нашлись поклонники. Марфутка эта была, впрочем, баба бойкая, разбитная; она отлично играла на гармонике, могла выплясывать часа по три без отдыха, знала наперечёт все местные песни и обладала таким звонким, пронзительным голосом, что за версту отличишь его в хороводе.

С первых же дней стала она как бес на выселках: с одними вступила в тесную дружбу, с другими успела поссориться. Число поклон-

ников заметно возростало. Недели через три после её прибытия произошла даже маленькая свалка: она подралась с одною из баб, которая, не знаю, основательно или неосновательно, но только приревновала её к мужу. Прошла Святая, наступила пахота. Мужики стали выезжать в поле; отправился и наш Яков с ними.

В один из этих дней мужик, нанимавший Марфу, послал её за чем-то в соседнюю деревню; дорога лежала через те самые поля, на которых работал народ; нива Якова примыкала к дороге. Проходя мимо, Марфа остановилась. До того времени, нужно заметить, Марфа слова не сказала с Яковым; по всей вероятности, редко даже с ним встречалась; но, вероятно, она имела о нём некоторое понятие, слышала, по крайней мере, как над ним подтрунивали, и, проходя мимо, вздумалось ей, в свою очередь, побалагурить. Бедность мужика, его вялая, кислая наружность служат верным подтверждением, что у Марфы, кроме балагурства, не было другого повода вступать с ним в беседу. Как начался разговор, в чём состоял он — неизвестно; но после этой встречи

беседы их стали повторяться. Хотя встречи происходили как бы случайно, они не ускользнули от глаз любопытных; это дало новую пищу смеяться над Яковом. Марфа сама, казалось, потешалась над ним вместе с другими; а между тем ловила случаи упасть ему на дороге. Многие видели, как иной раз Яков торчал где-нибудь за углом или подле рощи, переминался на одном месте несколько часов сряду и, очевидно, ждал чего-то; при встрече с кем-нибудь из крестьян он вдруг раскисал, щурился и с пристыжённым, крайне жалким и неловким видом направлялся домой.

Не могу сказать вам, какие способы пустила в ход Марфа, чтобы приворожить к себе, сбить с толку и, наконец, совершенно погубить этого человека; после говорили, будто всё это случилось по наговору; она, говорили, опоила его каким-то зельем; но это пустяки, разумеется. Ещё труднее объяснить, каким образом страсть,— я говорю: страсть, потому что нельзя дать другого названия чувству, которое овладело Яковом, и, наконец, по заключению этой истории сами вы увидите, что од-

на безумная страсть в силе одурманить до такой степени человека,— каким образом, повторяю вам, это вялое, по-видимому, совершенно безжизненное, кислое и робкое существо могло так сильно привязаться к женщине, которая явно вела постыдную жизнь,— словом, отвратительная была во всех отношениях. Началось с того, что Яков пришёл однажды домой без полушубка; он рассказал, что снял его и положил на межу перед тем, чтобы сеять; вернувшись к меже, полушубка уже не было: его украли. Это случилось в начале недели; в следующее за тем воскресенье Марфа явилась в новом, красном как маков цвет, платке и новых котях.

— Фу-ты, как расфрантилась! — говорили бабы,— откуда у тебя всё это?..

— Давно было; в сундучке лежало! — возразила без малейшей запинки Марфа; пухлое лицо её лоснилось от удовольствия и багровело, как красный сафьян.

В этот день голос её немолчно дребезжал на выселовской улице; она превзошла самоё себя и в пляске, и в песнях. В скором времени со двора Якова ночью унесены были корыто,

чугунок и лошадиная сбруя. С женою своею Яков не вступал почти в объяснение по этому предмету; но в разговоре со старухой матерью высказал решительное недоумение касательно того, как могли пропасть эти вещи: он в эту ночь, как нарочно, спал на дворе. Спустя несколько дней у Марфы завёлся новый передник, запонка, серьги и позумент на подоле понёвы. Короче сказать, по мере того как у Якова происходили пропажи,— а такие случаи повторялись чаще и чаще,— Марфа покрывалась обновками... Ясно, что в выселках завёлся вор, который преимущественно избрал дом Якова, хотя в этом доме меньше было чего взять, чем в других...

— Какой тут вор! — нетерпеливо перебил толстяк, поглядывая с пренебрежением на рассказчика,— какой вор! Вам сказали: вор! — вы этому и поверили... Этот же самый Яков, которого вы так жалеете,— он сам таскал у себя! Утащит, мерзавец, продаст, да Марфе этой и купит обновку.

— Может ли быть? — спросил с напряжённым изумлением весельчак, переглядываясь со мною и рассказчиком.

— Разумеется! — возразил толстяк.

— Они совершенно правы! — подхватил рассказчик, сдерживая улыбку, — вор точно был не кто другой, как Яков; об этом давно даже догадались все бабы; всем решительно известно было, что Яков тащит всё из своего дома, закладывает у целовальника, — и на вырученные деньги наряжает Марфу. Нашлись люди — стали ему выговаривать; но больше проходу не было от насмешек: стоило Якову на улицу высунуться — из-за угла уж непременно кто-нибудь кричит: «Яков, ступай скорей, Марфа дожидается!..» — и тому подобное. Смеялись также и над Марфой; но, вообще, она держала себя так бойко, так осаживала тех, кто приступал к ней, что насмешки никогда не переходили за предел шутки; даже мужик, нанимавший её, не делал ей замечаний; его останавливало, вероятно, опасение лишиться дешёвой и ловкой работницы; потому что, надо сказать, Марфа, мимо проделок своих, могла, когда хотела, заткнуть за пояс самого здорового батрака. Замечательнее всего, что Яков не встречал ни малейшего препятствия со стороны домашних; жена сло-

вом не обмолвилась,— виду не показывала, что что-нибудь знает. С тех самых пор, как открылись отношения между Марфой и Яковом, жена совсем почти дома не сидела; уйдёт в поле или к реке, ляжет ничком наземь и давай выть; голосит, словно по покойнике. Но чаще всего забиралась она к дальним родственникам и соседям; там уж выгружала она свои горести и, казалось, тем охотнее это делала, чем больше находилось слушателей. Мало или, вернее сказать, вовсе почти не заботясь о детях, она колотилась теперь головою, говоря о них; говорила, что вот пустил-де разбойник по миру сиротинок горьких; остались они, черви малые, одни, как нива без огорода,— и проч., и проч. Дети между тем бегали по улице оборванные, неумытые; весьма вероятно, часто даже бывали голодны... Раз только, один-единственный раз, старуха мать Якова попрекнула сына. Приходит он в избу; никого там не было, кроме старухи; по обыкновению, лежала она на печке.

— Яков! — говорит она.

Он подошёл.

— Что, матушка?

Над верхней перекладной печки показалась седая косматая голова, и два мутные глаза пристально на него устремились.

— Яков,— произнесла старуха, не спуская с него глаз,— Яков, что ты это затеял,— разбойник, а?..

Больше ничего не сказала она; но сам Яков признавался потом, что весь этот день ходил как шальной; словно тоска давила его; и он нигде не находил себе места. Но минул день — и всё пошло опять своим порядком.

Перед людьми и миром Яков оставался тем же робким, безответным, смиренным человеком; он постоянно молчал; знака сопротивления не показывал, когда староста, не зная уж чем остановить его, переговорив предварительно со стариками, начал водить его в пустой сенной сарай и наказывать. Всё это решительно, однако ж, ни к чему не послужило. Стыд, совесть, самый страх — всё заглушала несчастная привязанность; это было что-то похожее на запой, против которого все средства оказывались бессильными. В доме его постепенно, одна за другою, исчезли: тёлка, две овцы, горшки — словом, всё, что могло

превращаться у целовальника в наличные деньги. Марфа выходила по воскресеньям великолепная как пава, день-деньской грызла орехи; начали даже часто замечать её навеселе. Наступило под конец совершенное разоренье; в избе остались, только лавки, стены, оборванные ребятишки да старуха, которая с того дня, как сделала первый намёк сыну, дала словно обет молчания слова не произносила она, хотя всё видела, всё замечала. Придут к ней соседки и родственницы, принесут ей и внучатам творожку или хлеба, начнут рассказывать про сына, ругают его, соболезнают о детях, старуха слова не промолвит: сидит, понуря голову, молчит, точно дело не до неё совсем. Она представляла совершенную противоположность снохе, которая всем уже надоела своими слезами и жалобами.

— Позвольте, почтеннейший, позвольте,— прервал толстяк, насмешливо прищуривая заплывшие свои глазки, как же вы-то, вы, сударь мой, никаких мер не принимали против такого беспорядка?..

— Признаюсь, я сам хотел сделать вам тот же вопрос,— заметил маленький господин.

— К сожалению, меня в ту пору не было. Я приехал домой к концу уборки, когда Яков дошёл уже до того положения, о котором я говорил вам. Первым распоряжением моим было отдать приказание, чтобы Марфу непременно выслали из выселок; потом велел я призвать Якова. Сначала я сильно было на него напустился; но, подумав в ту же минуту, что все эти рассказы о его проделках могли быть преувеличены (мысль, которая невольно рождалась при воспоминании о его жизни и характере), обезоруженный, сверх того, робким, совершенно потерянным видом этого человека, который стоял передо мной с опущенною головою, дрожал как осиновый лист и обливался холодным потом,— я переменял грозный тон на увещательный; всячески начал я его усовещивать; говорил о грехе, о семействе, о голодных детях и так далее. Во всё время он не проронил ни слова, не сделал движения: он казался убитым, подавленным совестью и раскаянием; из-под жиденьких волос, наполовину закрывавших лицо его, я заметил слёзы, которые текли по щекам и разбегались по морщинам. Я выслали его, строго наказав ста-

росте докладывать мне о том, как пойдёт теперь житьё Якова.

Прошёл месяц; я не слышал малейшей жалобы. Между ним и Марфой, которая перешла версты за две в сельцо Лысково, прекратились, казалось, все сношения. Я начинал уже радоваться такой перемене, как вдруг узнаю, что всё пошло опять на прежний лад; узнаю, что Яков продал свою единственную лошадь, а деньги девал неизвестно куда; должно быть, Марфе отдал. Теперь необходимо следовало уже решиться на энергическую меру; но, признаюсь, в чём должна была состоять эта мера — я не мог придумать. Отдать в солдаты человека сорока пяти лет не было возможности; посадить в острог, хотя бы временно, нельзя без причины, установленной законом; не говоря уже об отвращении подвергнуть его домашнему наказанию (к счастью, ограниченному правительством), но и эта мера была уже приведена в действие без малейшей пользы. Отправил бы его на поселенье, — не принёс бы я ровно никакой пользы его семейству. Кроме того, каждая из этих мер казалась мне чересчур уж сильною для человека, кото-

рый хотя и служил худым примером остальным крестьянам, хотя требовал наказания, но сам по себе не сделал ничего особенно резко преступного. С нашей пошлой привычкой судить легко или рутинно о нравственных свойствах простого класса я верить не хотел в искренность Якова; я не предвидел, чем всё это могло кончиться; напротив, хотя было не до смеху,— мне смешным казался этот новый кавалер Де Гриё, явившийся у меня в выселках. Как бы то ни было, я не знал, на что решиться. Вот, однако ж, чем всё это кончилось.

Впоследствии выяснилось, что в этот последний месяц между Марфою и Яковым вышла разладица. Причиной была, разумеется, Марфа; ей, без сомнения, в голову не приходило, не могла даже понимать она и думать о том, какого рода чувство влекло к ней бедного мужика; видя, что взять с него больше нечего, она стала вдруг от него отбиваться. Кроткий нрав мужика поощрял её действовать грубо и бесцеремонно. Она усвоилась в деревне Лыскове так же скоро, как в выселках, и так же скоро нашла там обожателей. Она попалась Якову в роце (роца отделяла

Лысково от выселок), попалась ему с работником лысковской мельницы. Раза два потом Яков, следивший за нею украдкой, видел, как входила она в кабак вместе с тем же работником. Обращение её с Яковым, когда он начал упрекать её, проникнуто было дерзостью и наглостью самою возмутительною; она как бы не понимала, что хотел от неё мужик, с чего он к ней привязывался. Яков между тем день ото дня делался сумрачнее. Это заметила его жена, мать и многие даже из посторонних людей. Все они сами потом говорили об этом. В таком-то положении, вероятно, он и решил продать лошадь. Может быть, тут ревность действовала; но всего вероятнее, как человек слабый, бесхарактерный, не мог он совладать с собою, не мог перенести мысли о разлуке. Ослеплённый страстью, он вперёд не загадывал, страх и последствия, ожидавшие его после продажи лошади,— всё это исчезло при одной надежде, что авось-либо Марфа снова с ним сойдётся, авось всё пойдёт у них хоть на время, да пойдёт по-прежнему, а там, после... но о том, что после будет, он, вероятно, даже и не думал. Так, по крайней мере, кажется всё

это теперь, когда дело уже кончено. Кончилось это, как я вам сказывал, прошлою осенью.

Выселовские мужики купили в Лыскове десятину леса для топлива. Пришли они ко мне проситься на рубку. Я советовал повременить, потому что день, выбранный ими, вовсе не отвечал такому делу: ветер ревел в полях, как голодный волк, и без пощады рвал последние листья; на горизонте видимо росли тяжеловесные тучи; даль застилалась сумраком; холодно не было, но рука стыла на воздухе; всё предвещало или грозу, или продолжительное ненастье, Я представлял им всевозможные резоны, говорил, что дорога из лесу идёт в гору и что, в случае дождя, лошадям тяжело будет тащить возы, навьюченные лесом; говорил, что самые дрова, смоченные дождём, не просохнут до самого снега; но наш мужик если уж что заломит, ничем его не удержишь: поставили на своём, поехали. Так как дело было мирское, с ними отправился Яков. Началась рубка. В то же время и в том же лесу лысковские бабы собирали валежник; тут также и Марфа была. Подсмотрев, ко-

гда она осталась одна, Яков подошёл к ней. С чего началось у них — никто не знает: надо думать, обращение Марфы было чересчур уже грубо и жестоко, потому что сам Яков возвысил голос; от слов перешло у них к брани, и наконец Яков, потеряв, видно, терпение, замахнулся и ударил её в лицо. Марфе ничего не стоило ответить тем же; но тут она вдруг ни с того, ни с сего повалилась наземь и стала звать на помощь; она кричала во всю мочь, что Яков убил её до смерти. Когда прибежали на голос, Яков стоял у дерева; на расспросы товарищей он ничего не отвечал: у него точно язык отнялся. Марфа между тем продолжала кататься по земле и кричала, что её убили. Видя, что никакого толку из этого не выходит, только народ смеётся, она встала, разразилась бранью и пошла своею дорогой; её проводили насмешками, добрая часть которых выпала, конечно, на долю Якова.

В мирском деле, как и следует, впрочем, быть, не то что на барщине: время терять не любят, посмеялись — и опять за работу. Но то, что я предсказывал мужикам, поневоле укоротило их деятельность; к полудню тучи

окончательно заволокли небо, и дождь пошёл как из ведра. Нечего было думать продолжать работу.

Вернувшись домой, Яков показался домашним чудным каким-то; так они сами потом выразились. Не касаясь уже того, что он ни с кем слова не молвил, ему не сиделось на месте: то встанет, то сядет, то выйдет в сени, то обойдёт вокруг двора — и снова придёт в избу; и всё это делал он безо всякой причины, сам, по-видимому, не сознавая даже того, что делал. Река у нас не очень далеко: стоит обогнуть крестьянские риги и пройти луг. Яков несколько раз отправлялся на реку. Движимая любопытством, возбуждаемым загадочным поведением мужа, жена выходила из избы и за ним наблюдала: подойдёт Яков к реке и начнёт ходить взад и вперёд по берегу; или спустится к воде, постоит-постоит, словно в раздумье каком-то — и снова наверх подымет. Раз быстрыми шагами направился он к роще, совсем уже подошёл к опушке и снова вернулся в деревню. Во всё время дождь лил не переставая, ветер ревел с тою же силой, как и утром, Яков ничего не замечал как буд-

то; он продолжал бродить у себя по двору и по окрестности. Наконец наступила ночь. В выселках все улеглись и заснули. Несмотря на то что дождь и ветер превратились с наступлением ночи в бурю,— Яков всё ещё не возвращался. Он пришёл домой около полуночи; жена и дети давно спали. Он тихо вошёл в избу и сел на лавку.

По прошествии некоторого времени он встал, бережно подобрался к печке, нащупал в потёмках стремячки, по которым взбираются на печь, и сел подле матери. Она не спала; но Яков не мог разобрать этого: старуха лежала неподвижно и молчала. Руки Якова дрожали так сильно, что несколько раз провёл он ими по воздуху, прежде чем нащупал старуху.

— Кто тут? — спросила она, как бы пробуждаясь от сна.

— Я, матушка!..

— Что ты?

— Матушка,— произнёс Яков,— нет больше моей моченьки... Матушка, я убью её!..

— Кого? — спросила старуха, сохраняя прежнюю неподвижность; только голос её словно несколько оживился.

— Ты, матушка,— продолжал Яков,— ты хоша ничего не говорила, но всё видела,— видела всё моё разоренье... мою гибель. Заела она всю мою жизнь, змея подколотная... Моченьки моей нету... я убью её!..

Выражения Якова при объяснении с матерью были, вероятно, энергичнее, может статься, совсем даже другие; приблизительно, в общих словах, передаю то, что слышал, что показала потом сама старуха. Вообще, во всей этой истории нет ничего вымышленного; точь-в-точь рассказываю, как дело происходило в действительности; следствие, которое при мне происходило, и показания действующих лиц при допросе доставили мне все сведения.

Старуха мать осталась, по-видимому, совершенно бесчувственною к словам сына; она не сделала малейшего замечания, слова не промолвила. Но когда Яков в третий раз повторил: «Матушка, я убью её!..» — она медленно приподнялась на локте, кряхтя и охая, слезла с печки и принялась суетливо шарить в углу, где стоял стол. Яков слез также с печи и следовал за матерью. Старуха нащупала в

ящিকে нож и молча сунула его сыну, который тотчас же бросился из избы.

По прошествии часу выселовский народ пробуждён был страшными криками; все впопыхах высыпали на улицу. У околицы нашли Якова; он лежал ничком на дороге, страшно бил себя кулаками в грудь и голову и кричал во весь голос: «Батюшки, вяжите меня!.. Я убил её!.. Батюшки, вяжите! убил её, убил!..» Выбежав тогда с ножом из избы, он пустился сломя голову в Лысково, ворвался в клеть, где спала Марфа, и нанёс ей сряду, одну за другою, восемнадцать ран!.. каждая была смертельна.

С последними словами толстый господин, слушавший рассказ очень равнодушно, разразился вдруг против Якова самую энергичную, крупную бранью. Он как будто давно уже вывел своё заключение об этом человеке и ждал только окончания истории, чтобы высказаться. Но, к великому удивлению нашему, тотчас же открылось, что помещик выходил так сильно из себя вовсе не потому, чтобы возмущал его поступок Якова; преступление само по себе было в глазах его самую

обыкновенною вещью: такие случаи часто встречаются, чего же и ждать от полудикого человека! — негодование толстяка выходило совсем из другого источника. Яков настолько заслуживал внимания и возбуждал негодования, насколько шашни его и потом убийство навлекли хлопот, беспокойств и неудовольствий барину; шутка платить теперь за него и семейство подушные до следующей ревизии! А следствие-то! — следствие, которого не было бы без этого мошенника Якова и которое так убыточно для вотчины и, следовательно, для помещика! Словом, во всей этой истории толстяк видел одного только барина; у него не было другой точки зрения. Мораль его объяснений состояла в том, что послабления покуда не годятся и ведут только, неминуемо ведут помещика к убыткам и неприятностям.

— У вас, сударь мой,— заключил он,— у вас, судя по тому, как вы о народе судите, люди попросту от жиру бесятся,— именно от жиру! У меня бы этого не случилось; нет, шутишь! Заведись такой мужик, я бы дал ему Марфу!.. Этот ваш Яков просто мошенник, я

вам скажу; бестия продувная, сударь мой!.. да с, продувная бестия, который так только смирячком прикидывался! А вы ещё заступаетесь, сударь мой, да ещё жалеете...

— Конечно, жалею, как и следует жалеть всякого человека, который почему бы то ни было гибнет; но не знаю, с чего вы берёте, что я заступаюсь! — возразил рассказчик, — я привёл этот факт единственно потому, что речь, если помните, зашла у нас о страстях в простом классе народа...

— Какие тут страсти, сударь мой! какие страсти! — нетерпеливо перебил толстяк тоном пренебрежения, — всё это баловство одно... Какие нашли вы ещё страсти!..

— Полноте, господа! ну, стоит ли спорить об этом! — воскликнул маленький собеседник, — поверьте, вы их не убедите! — подхватил он, обратившись к рассказчику и мигая на толстяка, — пусть каждый остаётся при своём мнении... Знаете ли что? чем спорить, расскажу-ка я вам лучше другую историю... Она отчасти идёт под лад той, которую вы сейчас слушали... Тут, с одной стороны, действует крестьянка, простая деревенская де-

вушка; с другой — сын богатого фабриканта: малый грамотный, выросший посреди достатка, даже некоторым образом шлифованный. Вы говорили, что развитие и образование умягчает человеческую природу, что страсти человека образованного невольно уже как-то принимают облагороженную форму... Предстоит увидеть, насколько внешняя шлифовка или полуразвитие лучше, в нравственном смысле,— насколько лучше они самого полного невежества...— промолвил он, украдкой взглянув на толстяка.— Предупреждаю вас, происшествие, о котором пойдёт речь, ещё трагичнее того, которое вы рассказывали... оно такого рода, что, будь здесь барышня, я бы не стал передавать его... Хотите слушать? Ведь всё равно в ожидании парома нам нечего делать...

Один толстяк не согласился, казалось, с таким мнением; он предпочёл, по-видимому, возлечь на перину и предаться сладкому отдыху. Увидев, что я и господин в коричневом пальто просили начать историю и приготовлялись слушать, он остался на своём стуле.

— Дело, господа, происходило в Ярослав-

ской губернии,— начал маленький господин, откашливаясь,— там, как вы, вероятно, знаете, сплошь и рядом попадаются деревни, в которых почти совсем нет мужиков: они не живут дома. Бóльшая часть молодцов, которые в Москве, Петербурге и губернских городах покрикивают: «Пельсины, лимоны хорош!..» «Вот садова малина!..» и проч.; большая часть того народа, который погуливает по городским улицам с лотками на голове, а по просёлкам — с коробами за спиною; все почти лавочники, зеленщики, пивовары, целовальники, мелкие торгаши,— спросите у любого из них: откуда? — он почти наверное скажет: ярославец! Домой, на побывку, приходят они по большей части в зиму. В деревнях остаются одни бабы, девки, ребята да старики, которым бродячая жизнь уже не под силу.

В одной из таких деревень жило, между прочим, семейство, состоящее из бабы и её дочери, девушки лет семнадцати; муж бабы, отец девушки, торговал в Петербурге. Мать держала дочь в большой строгости; это бы ещё куда ни шло; но дело в том, что строгость эта имела характер самый бессмысленный и

бестолковый; сама мать, впрочем, была женщина в высшей степени взбалмошная, отчасти даже глуповатая,— с придурью, как в деревнях говорится. Сегодня, например, привязывается ко всякой безделице; дочь шагу не смей ступить без спросу, не смей выйти на улицу,— ругает её наповал, как с дубу рвёт; упрекает её в таких вещах, которые девушке даже во сне не грезились; иной раз даже и поколотит; и всё это без всякого основания, так себе, здорово живёшь! В другое время, опять-таки без причины, ластится к дочери, сама с ней заговаривает и всячески выхвалять станет. Бедная девушка решительно сбивалась с толку и не знала, как приноровиться к матери. Такая бестолковщина в обращении с детьми беспрерывно встречается в простонародье; живя в деревне, на каждом шагу видишь такого рода сцены: положим, ребёнок заплакал, мать сломя голову кидается на него с веником. «Ах ты, пострел окаянный! Уймёшься ли ты? вот же тебе! вот тебе!.. Перестань, говорят! перестань! Ну, на пирожка... на пирожка. А, так ты вот как, не унимаешься!.. Вот же тебе!, вот тебе!..— и веник снова

пускается в ход; потом опять слышно — «Ну, уймись! ну, на пирожка...» и т. д.

В середине лета, когда случилась история, мать удвоила вдруг строгость; покажись ей, что между дочерью и одним очень молоденьким парнем, который доживал последнее лето в деревне, завелись шашни. Собственно говоря, особенных шашней не было; девушка находилась неотлучно при матери, и если встречалась с парнем, так только на улице и при народе. Могло статься, что парень часто торчал подле девушки; чаще других ловил её, играя в горелки. Но глупой, взбалмошной бабе довольно было подозрений; не расспросив, не выведав дела, она накинулась на дочь и с того же дня стала запира́ть её на ночь в летничек, род клетки, которая примыкала к сенам. Как только пригонят скотину, отдоят коров, отужинают и уберутся, старуха ведёт дочь в летник и запирает её там на запор вплоть до зари.

Около этого времени в деревне явилось новое лицо, сын фабриканта из той же губернии. Явился он вот по какому случаю: отец его купил у владельца деревни несколько де-

сятин земли, с целью выстроить фабрику для тканья полотен. Началась стройка; но вскоре другие заботы отозвали старика, и он послал на своё место сына; хотелось, видно, ему начать приучать парня к делу. Парню стукнуло уже двадцать два года; до настоящей минуты он сидел в лавке, отмеривал холст и ситец и перемигивался с мещанками. Основываясь, вероятно, на том, отец дал ему в руководители и помощники своего — приказчика. Приехав в деревню, хозяйский сын и приказчик поместились наймом в избе одного крестьянина.

Отношения между молодым человеком и приказчиком были такого рода: последний постепенно, втихомолку от родителей, потакал дурным наклонностям первого: этим способом он совершенно овладел молодым человеком; он влез к нему в душу и как хотел, так и вертел им. Всё это делалось, разумеется, неспроста; приказчик имел свои виды; хозяин был стар; сын должен был наследовать всем имением. Вообще, этот приказчик был мошенник и плут первой руки; кроме того, что он развращал сына, он и отца обкрады-

вал; впрочем, хорош был также и молодой купчик; они друг друга стоили, несмотря, что последнему минуло только двадцать два года.

Дня два-три после приезда в деревню приказчик выводит купчика на улицу и говорит: «Ну, говорит, какая только здесь есть девушка,— чудо! — говорит. Перед ней все эти бабы, что вы вчор выхваляли, самая то есть выходит мразь,— сволочь нестоющая!..» — «Какая девушка? Где?..» — спрашивает купчик. Приказчик указывает на избу бабы, которая жила с дочерью и о которой я вам сказывал. Купчик случайно увидел девушку; она ему очень понравилась. Начал он ухаживать; караулил её на улице, старался заговаривать при встречах, прохаживался мимо окон; изо всего этого вышло только то, что юноша чаще видел кулак матери, высунутый из окошка, чем самую дочку. Девушка, с своей стороны, или пряталась, или попросту отворачивалась. Быть может, поступала она таким образом из страха; скромность, робость также, может быть, тут действовали; без этих последних свойств не могла бы она выносить так безропотно обращение взбалмошной матери. Ничего нет муд-

рёного, если невнимание девушки происходило также от того, что в самом деле нравилась ей молодой парень, за которого так доставалось ей от матери. Как бы там ни было, купчик отъехал ни с чем, как говорится. Он передал свои неудачи приказчику: «Ничего,— говорит тот.— это значит не так взялись за дело; манера не годится; надо взять дело в другую сторону; ничего, наша будет; не извольте ничего себе беспокоиться! Вы, говорит, главное, виду теперь не показывайте... дайте мне уладить дело... Практика эта нам знакома!..» Узнав от хозяйки, а также и от других баб подробности о житье-бытье матери и дочери, приказчик выдумал такую штуку: молодой человек должен был пробраться в летничек до того времени, пока мать не запрёт там дочку; ему следовало завалиться куда-нибудь за лавку, за сундук и во всю ночь пролежать так смирно, чтобы девушка никак не могла подозревать его присутствия; он должен был показаться тогда только, когда мать отворит летник, чтобы выпустить девушку. Купчик решительно не понимал, к чему ведёт такая штука; приказчик сказал, чтоб он только слу-

шался; слушаться будет — увидит, к чему поведёт выдумка. В тот же вечер купчик и его товарищ прокрались к риге матери; выждав минуту, когда старуха и её дочь вышли на улицу встречать стадо,—купчик бросился в летник и спрятался; приказчик повторил ему свои наставления и скрылся.

С наступлением ночи мать, как это обыкновенно делается, запирает девушку; молодой человек слышит, как она раздевается и ложится спать; он находился от неё в каких-нибудь двух-трёх шагах, но не отступил, однако ж, ни на волос от того, что говорил приказчик: во всю ночь не повернулся, не кашлянул. На заре девушка оделась и стала стучаться в дверь. В ту самую секунду, как старуха отворила летник, купчик ловко вышел из своей засады и показался подле девушки...

Предоставляю вам самим судить об изумлении матери и особенно дочери. Не успела бедная девочка прийти в себя, мать яростно на неё бросилась и принялась колотить её насмерть; после этого старуха как бы вдруг очнулась, повернулась к купчику и повалилась

ему в ноги: «Батюшка, говорит, не погуби только! взмилуйся, касатик!.. никому не расславляй, батюшка, об этом деле! не срами, касатик! никому не рассказывай!..»

Молодой человек, смекнувши, к чему могла повести выдумка приказчика, поспешил успокоить старуху: он клялся, что ничего никому не скажет, и с того же утра смелее приступил к девушке. В ответ на это она только заливалась-плакала и осыпала его проклятиями. Жизнь её сделалась окончательно невыносимую: с одной стороны, неотступно приставал купчик, который внушал ей страх и ужас, с другой — не было житья от матери, которая была её с утра до вечера. Приказчик между тем не переставал расспрашивать, как идут дела. Купчик сначала лгал: говорил, что всё идёт превосходно, что дело увенчалось блистательнейшим успехом; но раз как-то, после сотого неудачного приступа, передал ему всю правду. «Об ней нечего думать,— советует приказчик,— главная статья — больше на мать напирайте; постращайте хорошенько старуху-то; скажите, что обо всем размолвите по деревне; увидите,— дело тогда само собою

сладится».

Молодой человек согласился, что дело точно пойдёт тогда вернее; но прежде, однако ж, чем исполнить совет, попытался он обратиться сначала снова к девушке и взять лаской. Девушка, как и прежде, слышать ничего не хочет. Юноша приходит раз к старухе и говорит:

«Послушай, говорит, тётка, что ж она?.. Коли денег понадобится, мы в этом не постоим; и подарки, и всё такое... я хоть сейчас. А только не вели ей ломаться... Теперь уж поздно»,— говорит.

Старуха опять бух в ноги:

«Кормилец, молчи только, не сказывай! Муж узнает — убьёт до смерти... Ах она дура такая, проклятая!..»

Накидывается она опять на девушку и давай бить. Та только рыдает да головой о стены стучается. Такого рода сцены повторялись раз и два; дело всё-таки не двигалось, вопреки обещаниям советчика. Потеряв наконец терпение, юноша объявляет напрямик матери, что, если дочь станет ещё ломаться, он решительно начнёт рассказывать по деревне

обо всем случившемся. Малый, как видно, был с характером. Объяснение это происходило вечером, после пригона скотины. Купчик, действуя, вероятно, по совету приказчика, нарочно выбрал такое время; он как будто не сомневался уже в успехе и бил наверняка. Началось с того, что мать снова бросилась таскать девушку; она пришла в такое бешенство, что не случись тут купчика, она сделала бы дочь калеккой. После этого старуха силою втаскивает дочь в летник, кланяется в ноги купчику, умоляет его молчать, сама ведёт в летник и запирает с дочерью...

Очувтившись наедине с девушкой, купчик заметил не без удивления, что она уже более не плачет. Ободрённый этим, начинает он разговаривать. Она не бранит его, не проклинает, как прежде; она даже не отворачивается. Как окаменелая стоит она подле постели; изредка под платком, накинутым на плечи и совсем почти заслоняющим лицо её, пробегают судорожная дрожь; юноша объясняет себе это робостью и, ободрённый более и более, садится подле неё; она не делает даже сопротивлений, когда он начинает обнимать её. Не

отвечая на его ласки, не смотря на него, не произнося ни слова, она совершенно ему покоряется. Одного только никак не мог он добиться: не мог он добиться от неё живого слова, она точно онемела. Впрочем, не много заботился он об этом. На заре, когда старуха отворила летник, торжествующее лицо купчика доказывало, что он был очень доволен собою. Оставив девушку в летнике, он отозвал старуху в избу; ему хотелось сделать ей подарок. В ту минуту, как он полез в карман за деньгами,— в дверях неожиданно показалась девушка. Лицо её было бледно, растрёпанные волосы рассыпались по плечам, в чертах проступало такое отчаяние, что мать и сам купчик испугались. Девушка сделала два шага, взглянула на мать, произнесла проклятие, схватила, как бы в беспамятстве каком-то — схватила себя руками за голову и кинулась из избы. Мать пустилась за нею вдогонку; девушка как словно исчезла; купчик присоединился к старухе; стали искать: обошли все закоулки, обшарили ригу — нигде нет; начали спрашивать соседей: не видал ли кто? — никто не видал... Словом, искали весь день —

и нигде не нашли. К вечеру только отыскалась она... отыскалась — на дне пруда, который тянулся за деревней... Ну, как вы об этом скажете? — заключил рассказчик, неожиданно обращаясь к толстяку. — Как вы скажете: с чего утопилась эта бедная девушка? Что заставило её поступить таким образом?..

— С чего утопилась? — возразил толстяк с невыразимым спокойствием. — Известно, с чего утопилась, — сдуру!..

— Вы решительно, стало быть, отвергаете в простом человеке всякого рода благородные движения души и даже чувства честности? — воскликнул господин в коричневом пальто, вдруг разгорячась, так что краска выступила на лице его. — По-вашему, надо думать, люди только те, которые, как мы с вами, носим халаты, курим табак, земли не пашем, в избе не живём, нужды не терпим да знаем, что есть на свете Франция и были когда-то римляне?.. Мы одни, стало быть, — подхватил он, не замечая наших взглядов, которые ясно говорили ему о бесполезности таких объяснений, — одни мы можем чувствовать благородно и думать по-человечески?.. На чём же вы всё это

основываете? Вы человек уже пожилой, не можете же вы говорить без основания...

— Эх, господа, перестаньте, бога ради! охота же вам! — снова вмешался, и с тою же поспешностью, как и прежде, маленький господин.— Разговоры такого рода решительно ни к чему не ведут; вы их не убедите, они — вас; убеждать, следовательно, бесполезно... Не лучше ли, право, чтобы кто-нибудь из вас рассказал ещё какую-нибудь историю? Самое красноречивейшее рассуждение, как сказал один из наших писателей, не стоит самого мелкого рассказа, взятого только из действительной жизни и который мог бы служить фактом... Только факт что-нибудь значит, остальное всё туман... Основываясь на этом, позвольте, я расскажу вам происшествие, которое пришло мне на память. Я рассказываю плохо, но вы простите неловкость, мешковатость слога за смысл. К тому же я нахожу, мы довольно уже говорили о мужиках... Кроме того, всё, что ни говорилось, проникнуто было каким-то мраком, чем-то диким, грубым, необузданным... Для разнообразия расскажу историю из другого быта: начать с того, что

история эта не мрачного свойства; и потому, тут идёт речь о людях, которые... ну, да вы сейчас увидите...— присовокупил он, окидывая нас лукавым взглядом и как бы приглашая не спускать глаз с толстяка, к которому, как казалось, преимущественно хотел он обратиться.— Вот в чём дело: вёрстах в трёх от меня жили, и теперь ещё, слава богу, живут и благоденствуют два помещика; одного зовут Кондей Ильич, другого — Михайло Васильич; фамилии их вам знать не для чего; они не громки и притом не придадут интереса рассказу; без них обойдёмся. Кондей Ильич человек вида могущественного, сановитого, рост богатырский, косая сажень в плечах; весь он точно целиком из дубового пня вырублен; в жизнь не видал я таких огромных ступней, таких кулаков и мускулов, как у Кондея Ильича; его, кажется, ядром не убьёшь. Михайло Васильич представляет из себя человека тоже коренастого, но коротенького, с глазами, которые как словно чему-то изумились и застыли навсегда в таком виде. В характере Кондея Ильича есть что-то героическое, соответствующее его осанке; он смел,

отважен, действует всегда напролом и решителен в высшей степени. Случается ему, например, рассердиться на Михаила Васильича,— а это случается часто,— он тотчас же отыскивает его, идёт к нему и с прямою, свойственно благородным людям, говорит: «Ты подлец и скотина!» Михайло Васильич обыкновенно ничего на это не отвечает; не может он вообще похвастать храбростью и прямизною нрава; он скорее берет умом и хитростью. Рассердившись на соседа, он тщательно всегда скрывает настоящие свои чувства, старается даже избегать его, но с той же минуты бежит на мельницу, к приказчику соседней деревни, к пономарю и другим лицам и наскжет всегда таких ужасов про Кондея Ильича и его семью, что у робких людей пробегают холод в затылке. У Кондея Ильича девять душ; у Михаила Васильича семь; каждому из этих мужей уже около пятидесяти лет; словом, оба почтенного возраста.

С годами враждебные чувства, которые питают они друг против друга, нимало не умягчаются: напротив; с годами вражда только усиливается; она, надо думать, перешла к

ним по наследству от родителей, которые точно так же ненавидели друг друга и раз так даже шибко схватились, что сбежавшиеся шестнадцать мужиков того и другого никак не могли разнять их.

Впрочем, самая обстановка двух помещиков такого рода, что неминуемо должна разжигать их друг против друга; дома их, поставленные ещё покойными родителями, находятся на расстоянии шести сажень; они обращены лицом друг к другу и разделяются двориком. До сих пор не решено, кому принадлежит дворик. Об этом обстоятельстве спорили одинаково безуспешно отцы и теперь спорят дети; как те, так и эти сотни раз прибегали к местному начальству и подавали несчётное число прошений о том, чтобы раз навсегда определили, кому владеть двориком; местное начальство являлось, но всякий раз, как между родителями, так и между настоящими владельцами, подымалась такая война, что начальство отказывалось напрямик от всякого посредничества; оно уже радо было, когда могло растащить ссорившихся. Как Кондею Ильичу, так и Михаилу Васильичу нет ни ма-

лейшей надобности в этом дворике; ими в этом случае управляет та мысль, что тот, кто уступит дворик, даст случай восторжествовать над собою врагу; другой причины не существует. Как бы там ни было, несчастный дворик служил и служит основой и театром всех событий, совершающихся в этом уголке нашего уезда, который, не мешает заметить, богат такими уголками. Раздражение одного семейства против другого так сильно, что самое неувловимое обстоятельство способно подлить масло в огонь. Бывает вот как: индийский петух Кондея Ильича, прогуливаясь по двору, станет, например, против окон Михаила Васильича, распушит хвост и буркнет свою песню; Михайло Васильич принимает это тотчас же в обидную для себя сторону. Мошенники, говорит, нарочно подучили его!

В ту же секунду из-за угла летит на петуха палка; супруга Кондея Ильича стремится на выручку петуха; супруга Михаила Васильича выбегает к ней навстречу; на крик из обоих домов вылетают как пули, один за другим, Кондей Ильич и Михайло Васильич; за ними бегут дети, потом золовки, свояченицы (у обо-

их число душ собственной семьи втрое превышает число душ крестьян). Через минуту двор представляет одну движущуюся кучу людей, из которой во все стороны торчат и болтаются руки, ноги и головы. И хорошо ещё, если б один дворик служил театром и поводом для таких сцен! Управляемые тем же чувством, которое мешает им покончить с разделом дворика, они до сих пор ещё остаются чересполосными; их, если хотите, давно размежевали, вырыли даже межевые ямы и столбы поставили; но это ни к чему не служит; так бывает, впрочем, у многих помещиков, которые не чета Кондею Ильичу и Михайлу Васильичу. Кондей Ильич подозревает, что Михайло Васильич подкупил землемера: Михайло Васильич питает с своей стороны те же подозрения: оба владеют теми же участками, какими владели их отцы и прадеды. Рига Кондея Ильича до сих пор открывается на землю Михаила Васильича; бабы Михаила Васильича полощут белье в пруду соседа, народ и семья Кондея Ильича пользуются водою из колодца Михаила Васильича. При малейшей ссоре Михайло Васильич ставит у колодца

мужика с дубиной; Кондей Ильич бежит к пруду, принимает героическую позу, машет кулаками и кричит:

— Подойди только,— разобью вдребезги!..

Одним словом, вражда, существовавшая некогда между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем Гоголя, ровно ничего не значит против той, которая существует между Кондеем Ильичом и Михаилом Васильичем.

— Что это вы, сударь мой, рассказываете! позвольте вам заметить,— промолвил толстяк с заметным неудовольствием,— где вы видели таких помещиков?..

— Если вам не угодно верить, что во всём этом не прибавлено ни одного слова, не выдуманно ни одной черты,— не хотите ли сделать мне честь отправиться со мною ко мне в деревню; мы отсюда всего шестьдесят вёрст; нам даже, может быть, по дороге; я сочту за особенное удовольствие познакомить вас с Кондеем Ильичом и Михайло Васильичем; пожалуй, познакомлю вас и с другими, которые ни в чем им не уступают... Господа,— промолвил маленький рассказчик, обратись

к нам,— неужто вы также не даёте веры моему рассказу? Неужто вам не случилось встречать таких помещиков, как мои соседи?

Господин в коричневом пальто верил совершенно; мало того: он насчитал до десятка Кондеев Ильичей в своём уезде; я с своей стороны вызвался познакомить присутствующих также с десятком лиц, которые шли совершенно под стать героям, описанным рассказчиком.

— Может, и есть такие, только я не видал, не приводилось!..— пробормотал толстяк.— И наконец, какие же это помещики?.. так, мелюзга какая-то...

— Конечно, мелюзга, но всё же они помещики!..

— Семь душ всего! какие помещики! — упорствовал толстяк,— это тоже мелочь, которую вот этот ваш Гоголь описывал... они не идут в счёт...

— Ну, нет: сосчитайте-ка их,— куш выйдет порядочный! — перебил господин в коричневом пальто.— А вы Гоголя читали? — перебил он.

— Читал; так же всё преувеличивает и во

всём прибавляет... Таких людей, как он описывает, никогда не было...

— Ну, этого опять также нельзя сказать! — подхватил господин в коричневом пальто, который обращался теперь к толстяку неохотно и явно раздражался, когда говорил с ним.— По-моему, напротив, нельзя не согласиться, что Гоголь не только не увеличивал, но даже смягчал, значительно смягчал каждое лицо, которое описывал; это особенно относится к помещикам. Выставляя Собакевичей и Ноздрёвых, он, если смею так выразиться, берёт только одну сторону своих героев; они гадки и пошлы, как частные личности. Описывая нашего брата, русского помещика,— одной этой стороны мало. Представьте себе, во сколько раз Собакевичи и Ноздрёвы показались бы гаже, если б Гоголь захотел выставить их не только как мужей, отцов семейства, словом, как частных лиц,— но ещё и как помещиков? Всякий из нас помещик. В этом отношении мы находимся в исключительном положении; положение это так тесно вяжется с нашим существованием, от него в такой зависимости наша жизнь, что, описывая одно,

необходимо коснуться другого, чтобы описание было полно. Я могу быть отличным отцом и скверным помещиком; примерным мужем и, из любви к жене, разорять крестьян, покупая жене шляпки и шали, и т. д. Гоголь не трогал этой стороны своих героев по многим причинам. Выставка он Собакевича и Ноздрёва как помещиков,— они, может быть, превратились бы в злодеев; Гоголю не хотелось этого... Мне, признаться, всегда жаль, что он не делал этого... Повторяю: наша жизнь слишком тесно связывается с этим помещичьим положением, оно играет в нашем обществе слишком большую роль, чтобы можно было упускать его из виду, описывая нашего брата! По-моему, невозможно даже иметь верного понятия о ком-нибудь из нас, не руководствуясь в отношении друг к другу таким соображением или, пожалуй, пословицей: покажи на деле, каков ты помещик, и я скажу тебе, что ты за человек!

— Совершенно справедливо! — подхватил маленький господин,— именно: дай мне только понять, каков ты как помещик,— и я скажу, что ты за человек! присовокупил он,

украдкою взглянув на толстяка.— Но послушайте, хотя я скажу теперь общее место, истину, давно уже всем известную: заслуга Гоголя останется всё-таки неизмеримо огромна! Уже одно то, что он внёс в нашу литературу правду! — правду, которой до него не было и которая не мешает Гоголю быть великим поэтом! Положим, выставил он частных лиц, как вы говорите, но зато как поразительно они верны в смысле общечеловеческом! Что ни лицо — то тип! Он точно собрал всю нашу братью, разделил по кучкам, каждую кучку посадил в особую клетку и сказал: это Собакевичи, это Маниловы, это Чичиковы и. т. д.,— просто клеймо положил! Многие до сих пор ещё не любят Гоголя именно, кажется, за эту сортировку! У меня, например, тысяча душ, я задаю обеды, задираю свой глупый нос, кричу на выборах; Гоголь объяснил каждому, что я не кто другой, как Собакевич; меня иначе не зовут, как Собакевичем; согласитесь, это очень ведь неприятно!..— добавил маленький господин, засмеялся и снова бросил косвенный взгляд на толстяка, который сидел, мрачно насупив брови, и дышал особенно тя-

жело как-то,— но мы, однако ж, далеко зашли, господа! Позвольте кончить мою историю. Кондей Ильич и Михайло Васильич, точно так же, как жены их, свояченицы, тёщи и проч., чрезвычайно между тем заботились о том, как думают и что говорят об них соседи; дома дрались они, как какие-нибудь бойцы и мясники; вне дома оба лезли из кожи, чтобы казаться настоящими помещиками. С семьёй и девятью душами не уедешь далеко по части важности; тщеславие — плохая пожива! Для поддержки общественного мнения Кондей Ильич держит пару кобыл, на которых подкачивает к церковной паперти или является на ярмарки со своим семейством; у Михаила Васильича одна только лошадь и вместо тарантаса тележка; но к тележке своей приделал он складные подножки, как у тарантаса, и выкрасил её тёмно-бурой краской; на лошади щегольская сбруя, с медною оковкою, которая так сияет на солнце, что решительно ослепляет глаза. Оба на ярмарках и на городских праздниках поминутно выходят из своих экипажей, забегают на видные места и кричат кучеру: «Эй, подавай!» Особенно надо любо-

ваться Кондеем Ильичом и Михаилом Васильичем, когда они входят в церковь, сопровождаемые своим семейством. Кондей Ильич, гордо, важно проходит всегда мимо помещиков; нужно видеть, как, ведя своё семейство, расталкивает он вправо и влево народ, заслоняющий дорогу, и с каким озабоченным видом говорит: «Посторонись! посторонись!» Михайло Васильич ведёт себя гораздо деликатнее: при входе в церковь он оставляет семью, протискивается к каждому помещику и, всё равно, знаком ли он с ним или нет, протягивает наотмашь руку и осведомляется о здоровье. Он старается внушить всем, что он свой брат. Он и жена его ведут тесную дружбу с дьячком и дьяконом, нарочно с тою целью, чтобы в конце обедни им время от времени подносили просвиру. Когда в первый раз удостоились они этой чести, жена Кондея Ильича вошла тотчас же в теснейшие сношения с попадьёй; теперь просвиру подносят как жене Кондея Ильича, так и жене Михаила Васильича.

Несмотря, однако ж, на толчки свои и величавый вид, Кондей Ильич пользуется в на-

роде несравненно большею популярностью, чем сосед его. Кондей Ильич держит себя так гордо перед мужиками и бабами только при посторонних,— особенно перед помещиками; дома живёт он запанибрата со своими мужиками: ходит к ним в избу, пирует у них на крестинах и свадьбах, хлебает с ними щи из одной чашки и проч., он вообще невзыскателен в работе, и если иной раз которого из них поколотит, то это скорее потому, что не в духе, чем на основании какой-нибудь причины; мужики не ставят ему этого в укор; они любят Кондея Ильича. Михайло Васильич никогда не дерётся, но зато обращение его сухо и холодно; фамильярность с крепостными считает он несовместною с достоинством дворянина и помещика; он требует, главное, чтобы мужик и баба уважали его; требует, чтобы называли его барином, жену его барыней, детей барчонками; любит, чтобы мужик при виде его снимал издали шапку, а баба отвешивала низкий поклон. Мужик и баба терпеть его не могут, называют его гордецом, чуфарой...

Но оставим всё это; надо вам передать теперь одно маленькое событие, которое случи-

лось прошлой осенью; в событии этом нет ничего, кроме самого обыкновенного.

Это было в сентябре, не помню, они из-за чего-то опять поссорились. Михайло Васильич, по принятому издавна правилу, пустился тотчас же к мельнику, управителю и пономарю: но потому ли, что злоба бушевала в нём сильнее обыкновенного или находился он в особом припадке вдохновения,— он наговорил таких ужасов про соседа, что под конец сам даже испугался. Рассказы легко могли до слуха Кондея Ильича; с ним, как известно, шутить было не совсем выгодно. Михайло Васильич с детства, можно сказать, питал к нему непобедимый страх, и чувство это, хотя тщательно им скрываемое, служило главным основанием ненависти к соседу; что ж мудрёного — от одного взгляда Кондея Ильича мог бы, кажется, вскочить волдырь на лице врага; удар должен был превращать врага в блин! Под влиянием своих опасений Михайло Васильич целые трое суток не выходил из дому; он передал жене свои мысли; на общем семейном совещании решено было прекратить раз навсегда все сношения с зло-

деем (так звали могучего Кондея Ильича). Для этой цели Михайло Васильич в ту же ночь собрал своих семерых мужиков, настрогал колев, нарубил хворосту и до зари воздвиг плетень, который заслонил дом его от дома врага. Всё это было превосходно придумано; оставалось удивляться, как до сих пор подобная мысль не приходила в голову хитрому Михайлу Васильичу; но, к несчастью, в горячке своей Михайло Васильич не сообразил одного обстоятельства: плетень как раз пришёлся против риги врага! Иначе, впрочем, нельзя было устроить; задние ворота риги Кондея Ильича отворялись на землю соседа; рига стояла подле дома.

На другое утро Кондей Ильич выходит с мужиками везть рожь; отворяют ворота риги, чтобы дать ход ветру; «что за чёрт, плетень!» Не сомневаясь, что это было сделано с целью досадить ему, Кондей Ильич подошёл к плетню, припёр плечом и своротил его; но усилие, употреблённое им, не было рассчитано; он потерял баланс и рухнул вместе с плетнём наземь. Не успел он очнуться, как Михайло Васильич налетел на него со всех ног и дал

ему оплеуху. Такая необычайная решимость и храбрость со стороны Михаила Васильича объясняется тем, что уже слишком много, вероятно, накопело злобы в его сердце; им овладело, надо думать, что-то вроде корсиканской вендетты, какая-то необузданная жажда мести и бешенства.

Кондей Ильич вскочил на ноги, взглянул, замахнулся — и Михайло Васильич лежал уже разбитый вдребезги у ног врага; на крик сбежались жены, золовки, свояченицы и дети; картина, как можете судить, была торжественная; всё умолкло; наступила тишина; но это только была тишина перед грозой. Полчаса спустя Михайло Васильич, перевязанный и упакованный, сидел в расписной тележке своей и катил во всю мочь по дороге к уездному городу; за ним попевал во все лопатки Кондей Ильич в своём тарантасе. Оба стремились к губернскому предводителю, который жил в деревне, подле самого города. Каждый выбивался из сил, чтобы поспеть первым. Они приехали вместе, однако ж, вместе ворвались в прихожую предводителя и оттуда, после доклада, вместе бросились к дверям,

где и завязли.

— Господа,— сказал предводитель, смекнув, в чём дело, что, мимоходом сказать, было нелегко, потому что оба помещика говорили в одно время, опровергали клятвенно друг друга и раза два даже чуть было не сцепились,— господа, я, право, не знаю, что мне делать!.. От всех этих историй я начинаю терять голову... Не говоря уже о сраме, потому что, господа, вы всё-таки дворяне... но... но такого рода история служит ещё, сверх того, дурным примером... Ей-богу, это ужасно...

Предводитель обратился к Михаилу Васильичу и просил рассказать обстоятельно, как было дело. Кондей Ильич тотчас же было вмешался, но предводитель попросил его помолчать до времени.

— Помилуйте, ваше превосходительство,— сказал Кондей Ильич,— за что же ему такое предпочтение?.. за что? вы прежде меня должны выслушать; я первый поручил оскорбление!..

— Может быть, может быть,— возразил предводитель,— но только я сужу по тому, что вижу... Ваш сосед разбит совершенно...

тогда как вы невредимы... тут уже улика на лицо...

При этом Кондей Ильич отступил три шага; сердце его закипело и переполнилось негодованием; он скрестил руки на могучей груди своей и произнёс голосом человека, сражённого несправедливостью судьбы и людей:

— Ваше превосходительство, где же справедливость?.. чем же я виноват, что у меня тело крепкое и знаков не остаётся?..

— Ваше благородие, паром пригнали!..—неожиданно прокричал бородастый хозяин избы, появляясь в дверях...

Трудно передать действие, которое произвело на всех нас такое известие. Рассказчик остановился посреди своей фразы. Впрочем, и то надо сказать, вздумай он продолжать, никто, конечно, не стал бы его слушать; все бросились к шапкам, шинелям и калошам. Толстяк, кряхтя и задыхаясь от суетливости, в одно и то же время запахивал халат, убирал чайные ложечки, запирал поставец и звал во весь голос лакея. Тишина в избе, прерываемая только голосом рассказчика и редкими

возражениями слушателей, уступила место страшной возне, нетерпеливым возгласам и суматохе.

Но что значит этот переход от тишины к возне и шуму сравнительно с тою переменою, которая произошла между отношениями присутствующих? Минуту назад троих из нас тесно как будто связала одна общая мысль; мы невольно тянулись внутренне друг к другу; силою этой мысли чувствовали друг к другу что-то близкое, родственное; один миг, одно слово, одно пустое восклицание: «паром пригнали»,— и всё это сродство так же неизгладимо исчезло, как дым, когда дунет ветер; мы были уже чужими, перестали существовать даже один для другого; самая мысль, которая сродняла нас, была забыта. У всех была теперь одна мысль: как бы опередить друг друга, поспеть скорее на паром и занять там удобное, покойное место. Что же осталось бы от этой мысли и куда делось бы то святое чувство, которое пробудило в нас мысль, если бы вместо перспективы занять место на пароме,— перед нами открылась бы другая, более важная выгода?..

Минут через пять мы уже ощупью пробирались между возами и, завязая в грязи, перегоняли друг друга с таким же комическим усердием, как Кондей Ильич и Михаило Васильич, когда спешили они к предводителю.

Известие о приходе парома привело улицу в сильное движение. Посреди непроницаемого мрака бурной, ненастной ночи раздавались крики, брань, скрип телег и нескончаемое шлёпанье по лужам; всё рвалось к реке; беспорядок был невообразимый. С помощью локтей, иногда даже пинков, мы подвигались, однако ж, благополучно. Никто из нас не думал теперь о бедном мужике, который стоял под дождём; никому уже в голову не приходило уступить этому мужику то место на пароме, которого ждал он несколько суток,— каждый из нас, без сомнения, встретил бы с насмешкою и негодованием того, кто не шутя, сделал бы нам такое предложение. А сколько между тем истинного, неподдельного жара было в словах господина в коричневом пальто! Как горячо мы ему сочувствовали и готовы были распинаться за наши убеждения! Какой же толк в этом жаре и убеждениях?

Первым нашим делом, как только вошли мы на паром, было сунуть скорее перевозчикам денег, чтобы они поскорее только отчаливали (в этом случае мы действовали, надо сказать, с замечательным единодушием, и снова, казалось, одна общая мысль нас на секунду связала). Причал ловко отняли, и мы благополучно отвалили от берега.

Дождь лил ливня. Уныло гудел ветер, всплёскивая волны реки, едва отделявшейся от тёмных, пустынных берегов и ещё более тёмного неба, которое облегалo, казалось, всю землю и мрачно смотрело...

*1857*